

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Анна Ахматова

Наверное, на улице идет дождь. Ноябрьский, дымчатый, как траурная вуаль. А может, и снег пошел. Да, лучше бы снег. Отдернешь портьеру, а за окном все белое, новенькое, и небо светлое, и да здравствует зима — свобода от депрессии межсезонья. Да, хорошо бы — снег...

А впрочем, пусть и дождь будет, разницы-то никакой. Это в старой жизни были осень-депрессия и зима-свобода. И вообще — в старой жизни у природы не было плохой погоды, и любое время года вполне можно было принимать с послушной песенной благодарностью. А в этой, новой... В новой жизни все по-другому. И начинать ее страшно — хоть с дождем, хоть со снегом. И глаза открывать страшно.

Вот бы снова заснуть — впихнуть себя в забытье усилием воли! Или хотя бы фон под закрытыми веками сменить с фиолетового на красный, например. Или на оранжевый. Достал уже этот мерзкий фиолетовый...

ВЕРА КОЛОЧКОВА

Нет, не заснуть. Выспалась, никуда не денешься. Надо глаза открывать. И что самое противное — знаешь, куда взгляд упрется. Давно ведь хотела снять эту картинку, надоела уже... Папирусный профиль царицы Нефертити в черной рамке — фу, пошлость несусветная. Экое сомнение — вообразить свой профиль на Нефертити похожим! Ну да, не сама придумала, многие говорили... Может, и есть маленькое сходство, самую чуточку, общий абрис. Но мало ли, что говорят! Обязательно нужно картинку на стену присобачивать? Просыпаться и с самого утра в экстаз впадать? Подумаешь, кто-то когда-то заметил сходство... Тем более она царица египетская, а ты — никто. Ты — женщина, получившая от жизни оплеуху. И не одну. Так что скромнее, скромнее надо быть, проснувшаяся женщина с оплеухой...

Все, хватит самоуничужений. Нужно вставать. Долгое валяние в постели — это удовольствие оттуда, из старой жизни, и название у него приятное, той жизни вполне соответствующее — утренняя нега. А в этой жизни оно — пустой звук, обманное промежуточное состояние. Довольно тягостное, между прочим. И надо вытаскивать несчастный организм из этого состояния любым способом. Хотя каким еще способом... Способ всегда один — усилие воли называется. Так, собралась! Собралась, Анька, тряпка! Все — в быстрой последо-

Знак Нефертити

вательности! Открыла глаза, сбросила одеяло, встала!

Надо же, получилось. Хотя и плохо — ноги в коленках дрожат, и в голове что-то лопнуло, закружилось, пробежало по телу морозной судорогой. Шагнула к окну, отдернула портьеру...

Точно, дождь. Именно такой — ноябрьский, дымчатый. Кусок улицы в проеме окна съезжился моросным недовольством — чего уставилась, мол, не гляди, на что тут глядеть-то... Серые мокрые пятиэтажки в рядок, в одной пятиэтажке — аптека, в другой — лавка продуктовая. Из аптеки бабушка вышла, в лавку тетка с кошелкой зашла. К остановке троллейбус подкатил, выплюнул двух девчонок в ярких курточках. Постоял, уныло раскрыв двери, дальше поехал. Сейчас на углу долго в поворот вписываться будет...

Интересно, а как она сама оттуда, с моросной улицы, смотрится? Тоже не очень, наверное. Если даже профилем Нефертити повернется, все равно — не очень. Или, может, наоборот — кажется обманчиво романтичной сквозь дождевое окно. Как в клипе у Пугачевой — крикну, а в ответ тишина! Сильная женщина плачет у окна...

Нет, это не про нее. Она ж не кричит. И тем более не плачет. Это окно плачет — сизое, дымчатое. Ноябрь на дворе, ему и положено плакать. Нет, все-таки плохо, что жизнь меняется именно в ноябре. Вот если бы летом... А что, собствен-

ВЕРА КОЛОЧКОВА

но, летом? Летом было бы еще хуже — по закону подлости. Все кругом цветет и пахнет, и жизни радуется, а ты среди этой красоты пучишься своим горем... Нет, пусть уж будет фон соответствующий. Есть, есть в этом какая-то подлая закономерность.

Наверное, надо всплакнуть. Вздохнуть прерывисто, закусить губу, невольно унести памятью в самое светлое воспоминание из прошлого-пережитого... А потом вынырнуть и задать себе скорбный вопрос — как же так, Анька? Как так получилось, что стоишь ты сейчас у окна, сорокапятилетняя тетка Анна Васильевна Лесникова, и тихо удивляешься — как же так? Вот это все — дождь, улица, дома, троллейбусная остановка — все это будет, а тебя что, не будет? После дождя снег пойдет, принесет в щель приоткрытой оконной створки запах арбузной свежести, а тебя — не будет?!

Ох, как звенит внутри обиженной невероятностью. Ее, значит, не станет, а этот кусок улицы будет существовать по-прежнему. И люди на остановке соберутся, и будут похожи сверху на раскинувшиеся вороны крылья. И троллейбус приплюхает, откроет двери, втянет их в свое нутро. И бабушка из аптеки выйдет, и тетка с кошелкой в лавку войдет. Все будет. А ее всклокоченной головы в окне не будет. И никто этой потери в мизансцене не заметит. Подумаешь, всклокоченная женская голова в окне — была, и нету...

Знак Нефертити

Нет, не принимает душа. Не верит. Потому, наверное, и слез нет. И вообще — холодно стоять босиком. Надо пойти под душ встать...

Привычная вроде бы утренняя процедура, а удовольствие — непередаваемое! И гель для душа пахнет жасмином, и шампунь — травами. Зеркало запотело, надо на него водой плеснуть. Вот же дурная привычка — рассматривать себя придирчиво в зеркале во время утреннего мытья. Когда ремонт в ванной делали, сама настояла на этом зеркале, хотя Виктор категорически против был... Да кто его тогда спрашивал, Виктора. Дала команду — впаяли зеркало, и все дела. С тех пор и вошло в привычку — по утрам свою фигуру жестко оглядывать на предмет появления жировых складок. А что делать — природа одарила склонностью к ним, к небольшим складочкам.

И сейчас по привычке оглядела себя, повернулась боком, выгнула спину. Ничего, вроде все в норме... Не толстая, но довольно крепенькая, согласно возрасту. Линия бедра четкая, живота и в помине нет. Но это утреннее оглядывание сегодня удовольствия не принесло. Досада взяла — усмешливая, стыдливая. Вроде теперь-то уж зачем...

Да, она всегда боялась этого горя — растолстеть. И когда Лерку рожала — боялась, и когда Анто́на — тем более. Нет, когда грудью детей кормила, приходилось жертвовать страхами, тут уж ничего не попишешь, грудное вскармливание — дело

ВЕРА КОЛОЧКОВА

святое. Кормила и сама себя на последующие голодные лишения настраивала, и морила потом себя диетами, то на овощах сидела, то на кефире. Ох уж эти диеты — воспитание жестокости по отношению к собственному организму... Лишний кусок хлеба — преступление. Квадратик шоколадного торта — расстрел. Беговая дорожка до изнурения. Куча денег из семейного бюджета на массажи-обертывания... Потом вообще в принцип жизни вошло — всегда надо быть в форме, ни шагу назад! Сохранить легкость фигуры до старости! Шестьдесят килограммов — программа-минимум, пятьдесят килограммов — программа-максимум! Теперь вот спроси себя — зачем... Зачем все это было нужно? Выходит, все старания прахом пошли...

Интересно, потом, после их медицинского зверства... Каким оно будет — химическим, гормональным, черт его знает? А фигура совсем расползется, или как?

Да, глупо сейчас об этом думать. Тем более и без того понятно, что расползется. И не только фигура, а весь организм на осколки — жалкие, болезненные...

Вздохнула, резким движением повернула рычажок душа — хватит с нее утренних удовольствий. Глянула на себя последний раз в зеркало, мысленно поставила галочку в аргумент под названием «против». Мазохистскую галочку, жирную. Вот вам, доктор Козлов, еще один аргумент. Глупый,

Знак Нефертити

по-вашему, я все понимаю, но тем не менее. А вы говорите — о чем тут думать... Женщине с печальным диагнозом всегда есть о чем думать, господин Козлов! Тем более женщине сильной... Хотя она и не плачет у окна. И не кричит, когда вокруг тишина, если по Пугачевой.

Я думаю, господин Козлов, думаю. А может, я так думаю, что думаю...

* * *

Помнится, как она в первый раз усмехнулась, глянув на эту табличку на двери — «Козлов Г. Г.». Подумалось легкомысленно — надо же, с такой фамилией — и маммолог... Лучше бы уж в проктологи подался, больше бы соответствия было. И в очередной раз чертыхнулась в адрес кадровички Ларионовой — привязалась с этой диспансеризацией, всю плешь проела! Идите, говорит, Анна Васильевна, иначе Остапенко вас в список на квартальную премию не включит. Тем более уже все диспансеризацию прошли, вы одна остались... Еще и посмотрела укоризненно, будто она и есть самая ответственная чиновница в их департаменте. Так и захотелось ее на место поставить, чтоб не увлекалась маленькой властью! Подумаешь — отдел кадров... Да в их департаменте государственного заказа эта структура — вообще ненужный отросток, к основной деятельности

ВЕРА КОЛОЧКОВА

отношения не имеющий! А что в самом деле? Может, эта укоризненная Ларионова за нее срочную справку по прогнозу сделает? Или финансовый план, например?

Да, сильно она тогда на кадровичку обозлилась. Ворвалась к Остапенко в кабинет, с грохотом отодвинула стул, уселась за маленький столик, придвинутый к фундаментальному остапенковскому столу.

— Андрей Иваныч! У нас теперь что, работой департамента отдел кадров руководит?

Он поднял от бумаг недовольные глаза, глянул поверх очков:

— Что случилось, Анна Васильевна?

— Да меня только что Ларионова пугала, что если я на диспансеризацию в поликлинику не пойду, вы меня квартальной премии лишите!

— Так сходите в поликлинику, Анна Васильевна, в чем дело-то... Все сходили, и вы сходите. Что ж делать, если надо. У нас с тридцать второй поликлиникой договор подписан, пока все диспансеризацию по списку не пройдут, нельзя акт выполненных услуг подписать.

— А когда я пойду, Андрей Иваныч?

— Да хоть сейчас, пожалуйста.

— Да? А справку по движению средств кто для вас сделает?

— Ну, справку... Справка мне нужна, конечно. Так эта пусть делает, как ее... Которая новенькая...

Знак Нефертити

— Ксения Максимовна, что ли?

— Да, да, Ксения Максимовна!

— Ага, она вам сделает, потом концов не найдете! Она же только после института пришла, практики никакой, знаний — ноль! Явно кто-то сверху по блату пропихнул!

— Ну, вы свои выводы при себе держите, Анна Васильевна... Ничего, дайте ей задание, пусть сделает. А вы потом, если что, подкорректируете. А на диспансеризацию все равно придется сходить, соблюсти формальности.

— Ну что ж... Если формальности вам дороже... Я схожу, конечно...

— Идите, Анна Васильевна. И постарайтесь в один день всех врачей обойти. Там, в поликлинике, для наших сотрудников зеленый коридор предусмотрен, так что, я думаю, одного дня вам хватит.

Пожала плечами, хмыкнула, демонстрируя возмущенное непонимание. Уже в дверях обернулась, спросила обиженно:

— А что, если б я не пошла... И впрямь квартальной премии бы лишили?

— Да! Лишил бы! — уже звенел легким раздражением голос Андрея Ивановича. — Порядок есть порядок, Анна Васильевна! И он для всех одинаков, несмотря на заслуги и звания!

— Да уж, странные у вас порядки... Сейчас насильно даже в психушку не загоняют...

ВЕРА КОЛОЧКОВА

И закрыла за собой дверь, слишком торопливо, дабы не полетело в спину еще большее раздражение. Нет, в общем и целом он мужик неплохой, этот Остапенко, зря она его разозлила... Бывают начальники и похуже. А только все равно не хочется целый день на дурацкую диспансеризацию гробить! Придумали формальность — бегать по врачам, подписи собирать! Оно, конечно, понятно, что медики под святым лозунгом охраны здоровья трудящихся хорошо себе руки греют, но бедный чиновничий люд зачем так уж откровенно насиловать? Грейте руки на тех, кто по врачам любит ходить, а остальных в покое оставьте...

Она вот, например, всяких больниц с детства не любила. Помнится, отсидка перед кабинетом врача на коленкоровой драной кушетке была сродни самому жестокому наказанию. И запах больничный, будто прогорклый... Может, на самом деле и не было в нем никакой прогорклости, но все равно чудилось, что запах настырно въедается в тело, в кровь, в душу, лишая последней воли. В детстве она часто болела и много времени провела вместе с мамой на таких драных кушеточках в очереди к врачу. А когда подросла, сама себе зарок дала — больше ни за что и никогда... Умирать будет, а по врачам не пойдет! С детства хватило — до взрослой идиосинক্রазии...

Но ничего не попишешь — придется свою идиосинক্রазию спрятать до времени. Остапенко — он

Знак Нефертити

такой, сильно принципиальный, и впрямь может в список на премию не включить. А премия — ой как нужна... На эту премию много уже чего написано, строго по пунктам. Денег-то теперь — кот заплакал, на одну зарплату не разживешься. А с Виктора, как говорится, взятки гладки, и без того добровольный алиментный взнос за три месяца задолжал... Работу он потерял, видишь ли! Сначала голову потерял, а потом и работу! А на какие шиши сына в институте учить — ему и дела нет!

Так, подогревая себя привычными раздраженными мыслями, дошла до поликлиники, взбежала на крыльцо, дернула на себя тяжелую дверь. Вошла в вестибюль, вздохнула — так и есть, у окошка регистратуры очередь клубится. Ну, и где ваш обещанный зеленый коридор, господин Остапенко иже с госпожой-кадровиком Ларионовой? Выходит, чтоб в него войти, надо сначала всю очередь протаранить? Что ж, будем таранить, не стоять же послушно в ряду болезных, вбирая в себя их энергию! Так, значит! Морду злым комочком, плечико востренькое вперед, и туда, к окошку... И не клубитесь своим возмущением, господа немощные больные, мне лишь обходной листок по врачам забрать, я всего лишь на диспансеризацию...

Да, всех врачей она тогда за два часа обежала. Никто особым вниманием не докучал, послушно ставили на листочке подпись и штампик — здо-

ВЕРА КОЛОЧКОВА

рова, мол, отвали, работать мешаешь. Она и отваливала, благодарно улыбаясь и разводя руками — а что делать, сами понимаете — формальность! Кабинет маммолога был по счету и по списку последним...

Она и к нему ввалилась, впустив в открытую дверь шум возмущенных женских голосов из очереди. Бодро прошагала к столу, неся в вытянутой руке обходной листок. Плюхнулась на стул, проговорила интимно-весело:

— Меня можно не смотреть, я по диспансеризации... Вот тут надо штампик и подпись... — постучала ногтем по нижней линейке листка.

Помнится, он уставился на нее сначала озадаченно, этот маммолог Козлов Г. Г. Как позже выяснилось — Геннадий Григорьевич. Даже ресницами поморгал удивленно, откинувшись на спинку стула. Потом улыбнулся вполне душевно, потянул из-под ее пальцев листок, положил перед собой, прихлопнул маленькой, почти женской ладошкой.

— Нет, так дело не пойдет, уважаемая... — глянул в шапку листка на секунду, — уважаемая Анна Васильевна! Если уж пришли, то придется пройти осмотр... Идите, раздевайтесь вон там, за ширмочкой!

Глянула на него кротко, как овечка, свела брови домиком, улыбнулась умоляюще:

— Ой, да бросьте... Ну, чего меня за ширму туда-сюда гонять, а? Мне на работу надо...

Знак Нефертити

— Вот и хорошо, что вам на работу надо. Я тоже, между прочим, на работе.

— Но вы ж понимаете — это всего лишь формальности...

— А я, Анна Васильевна, формальностей как таковых не признаю. В моей работе нет термина — формальность. Так что уж будьте добры — пройдите за ширмочку.

Что-то было в его голосе... слегка надменное, с оттенком самолюбования. Ах, ну да, он же молодой совсем... Наверное, только-только из интернатуры выскочил, большим специалистом себя возомнил. Не наигрался еще в клятву Гиппократа, не заматерел на медицинском циничном хлебушке. Ну ладно, коли так, придется дать себя этим ручонкам ошупать... Совсем детские у вас ручки-то, маммолог Козлов! Наверное, щекотно будет!

Хмыкнула, прошла за ширму, разделась. Встала перед ним, прямо держа спину. На, щупай скорее, ставь свой штампик да отвали... Вернее, я отвалою...

Поднялся из-за стола — росточком низенький, узкоплечий. А лицо-то какое важно-сосредоточенное, компенсирующее недостаток медицинской квалификации! Тихо усмехнулась про себя — ничего, парень... Вот поработаешь еще лет пяток, помнешь не одну тысячу титек, и будет у тебя лицо нормальное, устало-равнодушное...

Господи, да что ж он так долго! Давит, мнет, елозит острыми пальцами... Кажется, еще немно-

ВЕРА КОЛОЧКОВА

го, и до сердца дотронется. И под ключицу больно надавил, и в подмышки залез... И возмутиться нельзя — ничего не попишешь, врач все-таки. Маммолог Козлов, леший бы его побрал.

— Вы рожавшая?

Ну, спросил! А что, по груди не видно, что рожавшая? Сам не видишь, что грудь в смысле красоты не подарок?

— Да. Два раза рожавшая.

Ответила сдержанно, будто сглотнула нака-тившую вдруг неприязнь.

— Когда рожали?

— Давно. Дочери двадцать три, сыну восемнадцать.

— Что ж, хорошо... Хорошо... Ладно, одевайтесь.

Ну, слава тебе, господи! Процедура закончена, и быстрее надо бежать отсюда и забыть, как плохой сон... Торопливо застегивая пуговицы на блузке, подумала с долей приятности — а от рабочего дня еще целая половина осталась! А Остапенко-то на полный день отпустил! Ура, ура. Можно, наконец, пальто из химчистки забрать и в парикмахерскую заскочить, корни волос подкрасить... И маникюр! Обязательно нужно на маникюр попасть! А то ходит, как овощная торговка, с плохими ногтями.

Присела на край стульчика перед его столом, заготовив благодарственную улыбку на лице. Да-

Знак Нефертити

вай доставай свой штампик, Козлов, некогда мне тут с тобой...

Он сидел, писал что-то на четвертушке медицинского бланка. Потом отодвинул его в сторону, глянул на нее задумчиво.

— На вас карта в нашей поликлинике заведена?

— Нет... Я вообще тут впервые... Да у меня же диспансеризация, вы не забыли? Мне надо штампик и подпись...

— Нет, я не забыл. Сейчас я вам заполню медицинскую карту, а потом вот... — протянул он ей четвертушку заполненного бланка, — потом вам нужно на маммографию... Это в цокольном этаже, тридцать пятый кабинет, завтра с девяти до одиннадцати.

— Не поняла... Зачем? А... А штампик?

— Надо сделать маммографию, Анна Васильевна. Если снимок будет хороший, то поставлю и штампик.

— Нет, это вы... Конечно, это похвально, что вы так хорошо... Что так стараетесь... Но поймите — я же всего лишь на диспансеризацию пришла! Формальность такая, понимаете? У меня же не болит ничего!

Он глянул на нее чуть снисходительно, помолчал, будто уговаривая себя проявить должное терпение. Потом взял ручку, придвинул к себе бланк карты.

ВЕРА КОЛОЧКОВА

— Так, пишу... Лесникова Анна Васильевна. Проживающая по адресу...

Ей ничего не оставалось делать, как уныло продиктовать и адрес, и год рождения, и номер домашнего телефона. Номер мобильного диктовать не стала — еще взбредет ему в голову на мобильный звонить, напоминать про тридцать пятый кабинет...

— Так, Анна Васильевна. Все хорошо... Значит, завтра с утра вы идете на маммографию. А потом ко мне, пожалуйста. Завтра у меня прием с двух до шести. А снимки ваши я сам заберу.

— Но я работаю до шести!

Он опять глянул на нее так же — чуть снисходительно, понимающе. Улыбнулся благожелательно:

— Ничего, уйдете с работы на часик пораньше.

— И... Вы мне завтра в обходном листке штампик поставите?

— Да, конечно. Будем надеяться, что все благополучно обойдется штампиком. До завтра, Анна Васильевна.

— До свидания...

Вышла в коридор, прошла мимо укоризненных взглядов женщин, сидящих на кушетке у двери. В спину вдогонку ткнулось обиженное:

— Вот нахальная какая... А говорила, на две минуты зайду...

Хотела ответить, да только рукой махнула. Спустилась по лестнице на первый этаж, забрала из

Знак Нефертити

гардероба куртку. Мыслей в голове никаких не было — ни досадливых, ни испуганных. Вялость в голове была пустая, бесформенная. Одураченная какая-то вялость. Скорей, скорей на улицу, на свежий воздух...

Он и в самом деле показался весьма свежим, городской воздух поздней осени, насквозь пропитанный дождями и прелью, и запахом скорого снега. Вздохнулось сразу легко, и ушла из головы вялость, сменившись оптимистической покорностью перед обстоятельствами — ну, завтра так завтра. Черт с ним, с Козловым. Сходит она утром в тридцать пятый кабинет, вечером получит свой штампик... Правда, было в этой оптимистической покорности одно довольно неприятное звено — завтра с утра надо снова отпрашиваться у Остапенко, объяснять что-то... Нет, не про маммографию в цокольном этаже с девяти до одиннадцати, конечно же! Что-нибудь другое нужно придумать. И для кадровички Ларионовой тоже...

А впрочем, чего уж себя обманывать — бился среди этих мыслей маленький хвостик-страшок. Даже не бился, а пошевеливался чуткой ящеркой, щекотал хвостом по сердцу. И когда в кресле у парикмахерши Светы сидела, и потом, когда к маникюрше Оксане за стол перебралась. Оксана та еще говорунья — щебетала что-то о недавней поездке в Турцию, сетовала на плохую погоду... Она сидела с вежливым лицом, улыбалась, кива-

ВЕРА КОЛОЧКОВА

ла головой, делала вид, что слушает. А мыслями возвращалась к нему, к молодому Козлову...

Нет, это понятно, что он молодой. В том смысле, что никакого опыта в своей медицинской специфике заработать не успел. Да и вообще... Может, он каждую пациентку на эту самую маммографию отправляет! Хотя нет, не каждую... Если судить по их департаменту, все пробежали по врачам за один день, о чем и доложили благополучно кадровичке Ларионовой...

Страшок внутри снова зашевелился, и палец в Оксаниной ладони дернулся сам по себе, непроизвольно. Оксана подняла на нее испуганные глаза:

— Что? Я вам больно сделала, да? Извините...

— Нет, Оксаночка, все в порядке. Продолжай.

— А, ну да... Так вот, я мужу и говорю — никогда больше в этот отель не поеду, здесь даже бассейна с подогретой водой нет! А он мне отвечает — ну и что, зато путевки дешевле... Ему без разницы — есть бассейн или нет! Ему главное, чтобы в баре виски неразбавленный был...

Голос Оксаны снова потек ровным ручейком, размылся, уплыл куда-то. А страшок-ящерка, наоборот, встал на лапки, поднял голову с глазами-бусинками, шевельнул хвостом. Конечно, можно напрячься, мысленно топнуть ногой, чтоб исчез... Да только не так это просто, как оказалось. Вместо топанья полезло вдруг в голову всякое...

Знак Нефертити

Например, как часто по телевизору талдычат о необходимости посещения врачей-маммологов, о раннем выявлении проблемы, о самоконтроле... А еще — что программы всякие пишут, и консультации проводят бесплатно, и центры создают. И она, бывало, вот так слушала в телевизоре какого-нибудь чиновника от медицины, и, черт возьми, даже гордостью за родное отечество проникалась — ишь, как верхи насобачились за бабским здоровьем следить, молодцы! Нет, оно и правда приятно гордостью проникаться — за кого-то. И радоваться решению женских проблем — чьих-то. А саму себя представить крупницей «здоровья нации», выходит, слабо... Сидит и сидит камнем внутри неколебимая уверенность, что с ней никогда ничего подобного... Этот, мол, колокол по другим звонит...

— ...Фуксия уже не в тренде, это в прошлый сезон по фуксии все с ума сходили... — ворвался в мысли журчащий Оксанин голосок. Подняла голову, глянула на нее удивленно:

— Что?

— Я спрашиваю, каким лаком ногти покрывать... Вот у меня тут красный, розовый, бежевый...

— А... Да мне все равно, Оксаночка. Ну, давайте бежевый.

Все! Больше не будет ни о чем таком думать! Вон, лучше за ловкими Оксаночкиными ручонками наблюдать, за кисточкой с бежевым лаком,

ВЕРА КОЛОЧКОВА

за возникающей на глазах ухоженной красотой. Все-таки ухоженные руки — не малая часть женской жизни. Как-то поувереннее себя сразу чувствуешь... Все, все! Больше не думать!

И получилось. Ящерка испугалась, скрылась в гнезде подсознания, уступила место обыденным заботам. Надо еще в супермаркет заскочить, в доме холодильник совсем пустой... Да, еще химчистка! И Остапенко нужно позвонить, отпроситься на утро. Сказать, что сантехник утром придет... Или еще что-нибудь такое придумать, отвлеченно-бытовое.

Утром бежала в поликлинику, как партизан на задание — поезд взорвать. Не хочет партизан его взрывать, а надо. И настроение было соответствующее — немного пришибленное. Сам бомбу подложишь, сам от взрыва и погибнешь... В себя только потом пришла, уже на работе. Глянула в справку, которую вчера новенькая Ксения Максимовна для Остапенко наворотила, глаза от ужаса на лоб полезли... Нет, чему их в нынешних институтах учат? Элементарных вещей не знают — где мухи, а где котлеты... Все, все надо переделывать, и пусть эта Ксения Максимовна притухнет за своим компьютером и не высовывается даже!

— Ань, привет... — заглянула в дверь Таня Васильчук, подруга-приятельница из отдела экспертизы. — Может, чаю попьем?

Знак Нефертити

— Нет, Тань, не могу пока... Мне тут работу подкинули — часа на два! — выразительно указала глазами в сторону монитора, за которым пряталась Ксения Максимовна.

— Ну, понятно... — в тон ей сочувственно произнесла Таня. — Ладно, работай, чего уж теперь делать, доля наша такая — все на себе тащить... А ты завтра в бассейн идешь, Ань?

— А что, завтра уже суббота?

— Ну, ты даешь... Ничего себе, заработалась... Сегодня к твоему сведению пятница, короткий день, до пяти!

— Ой, точно! Сегодня же до пяти, — вспомнила она радостно, — а мне как раз надо пораньше...

— А куда тебе надо?

— Да так... По одному делу.

— Понятно. Так в бассейн завтра идешь или нет? Ты уже три субботы пропустила, абонемент пропадает! Смотри, больше не дадут, лишат хлявного удовольствия!

— Не знаю, Тань. Может, и пойду. А может, и нет... Не знаю.

— Ладно, я позже зайду, работай...

Так им и не удалось попить чаю в этот день. Работы навалилось — пропасть. И всем срочно, и всем подай... Вроде и народу в отделе много, а работать некому! Сплошь одни Ксении Максимовны, только постарше да понаглее...

ВЕРА КОЛОЧКОВА

Все, пять часов. Пусть срочные бумаги несделанными остаются, надо бежать. Хорошо, хоть у Остапенко отпрашиваться не пришлось, и впрямь забыла, что пятница — короткий день.

Кушетка у кабинета Козлова Г. Г. оказалась пустой. Никого. Постучала в дверь, заглянула...

— Да, заходите! — поднял он от бумаг сосредоточенное лицо. — Присаживайтесь, я сейчас... Вы ведь у нас Лесникова, да?

— Да. Я Лесникова. Анна Васильевна.

— Так, Лесникова, значит... Погодите...

Он шустро принялся перебирать серые плотные конверты, кучкой устроившиеся на углу стола. Вытянул один, глянул в его нутро, хмыкнул озадаченно, побарабанил пальцами по столу. Потом снова потянулся руками к конвертам, вытянул еще один, близоруко поднес к глазам.

— А, вот... Вот ваши результаты обследования, Анна Васильевна, я их уже смотрел... Ну что ж, Анна Васильевна...

Потер маленькие ручки одну об другую, издав сухой неприятный звук. Почему-то у нее от этого звука мороз по коже пошел и задрожало внутри лихорадкой, подкатило к горлу нервным спазмом.

— Ну? И как? Нормальные у меня результаты?

Странно, а голос получился бодреньким, даже слегка насмешливым. Но как будто это и не ее голос был, а чужой, на пару тонов выше.

Знак Нефертити

— Нет, Анна Васильевна. Я вам прямо скажу — плохие у вас результаты. И даже больше того — очень плохие. Я сейчас вам направление в тридцать четвертую больницу выпишу...

— Погодите, погодите! Что значит — очень плохие? Вы можете мне как-то по-человечески... Я же не понимаю ничего...

— Вам в больнице все объяснят, Анна Васильевна.

— А вы? Вы что, не можете?

— Я... Ну, в общем... Понимаете, по одной только маммографии нельзя сказать определенно... Дополнительное обследование требуется. В больнице вам его и проведут. Значит, вы прямо в понедельник по направлению...

— В какой понедельник? Уже в следующий, что ли? Вот этот, который будет? Через два дня?

— Ну да... А что? Чем быстрее, тем лучше. Со сроками лучше не затягивать, Анна Васильевна.

Сказал — и шмыгнул глазенками куда-то в сторону. Потом вверх посмотрел, на плафон, затем опять на нее.

Сглотнула нервно, пропихивая внутрь липкий страшок-раздражение. Почувствовала, как вместе с длинным вдохом зреет внутри ярость — так бы и прихлопнула этого мямлю с его бегающими глазками! Не врач, а записная кокетка — глазками он, смотри-ка, в угол — вверх — на предмет! Нет

ВЕРА КОЛОЧКОВА

уж, дорогой, ты мне сейчас все, как есть, скажешь, не надо мне тут...

— Простите, доктор... Как вас по имени-отчеству?

— Геннадий Григорьевич... — услужливо согнул он шею в кивке.

— Ага. Очень приятно. Так вот, Геннадий Григорьевич... Или вы мне прямо сейчас все обстоятельно про мою проблему разьясните, или я немедленно отправляюсь к главврачу.

— А зачем к главврачу-то?

— Да жаловаться на вас, зачем!

— А... Ну, это можно, конечно... Только его все равно сейчас нет, он на конференцию в другой город уехал. Да вы успокойтесь, Анна Васильевна...

— Да я-то, между прочим, спокойна! Я всегда спокойна! А сейчас так вообще спокойна, как никогда! — плюхалась она в собственном невыносимом волнении, пытаясь через ярость выплыть хоть на какую-то твердь. — А вы думали, я сейчас платочек из рукава достану и слезьми затрясусь, да?

Боже, что она несет... Пора остановиться, пока не поздно. Пока вихрь слепой ярости не погнал ее прочь из этого жуткого кабинета...

Так. Вдохнула, выдохнула, собралась. Похоже, она его напугала, Козлова-то. Как его... Геннадия Григорьевича. Сидит, голову в плечи втянул, ушки прижал, как мышонок. Надо и впрямь успокоить-

Знак Нефертити

ся, глянуть смело правде в лицо. Какая бы она ни была, эта правда.

— Хотите воды, Анна Васильевна?

Развернулся на крутящемся стуле, подъехал к подоконнику, налил из чайника полстакана, оглянулся на нее испуганно. Чего ж ты трусишь так, молодой специалист... Думаешь, я эту воду в лицо тебе плесну, что ли?

— Да, буду, давайте.

Вяло протянула руку, приняла стакан, глотнула воды. Противная, теплая. Поморщилась, осторожно поставила стакан перед собой, оплела его пальцами. И заговорила уже спокойнее, даже с оттенком дружелюбного панибратства.

— Послушайте, Геннадий Григорьевич... Вы извините меня, ради бога, за такую реакцию. Но сами посудите — даете направление в такую больницу и не говорите ничего... Я же знаю, что это за больница — тридцать четвертая. И знаю, каких больных туда направляют. Недавно мы всем департаментом замечательную сотрудницу хоронили — как раз оттуда и забирали... Не бойтесь сказать мне правду, Геннадий Григорьевич.

— Вам в больнице все скажут, Анна Васильевна... Нужно еще ряд исследований провести, чтобы...

— Так. Знаете, мы вот что с вами сделаем. Мы начнем наш диалог сначала. Вы сказали, что вам принесли заключение маммологического обсле-

ВЕРА КОЛОЧКОВА

дования и что результат плохой. И даже очень плохой. Ведь так?

— Ну... В общем...

— Так чего вы резину тянете? Жалеете бедную кошку и отрезаете по кусочку от ее хвоста? Я понимаю, что у вас еще опыта нет, но поверьте — нельзя же так! Это по меньшей мере непрофессионально, Геннадий Григорьевич!

Он вдруг вспыхнул, дернулся в своем креслице, нервно переложил ногу на ногу, глянул на нее затравленно. Где-то по краешку сознания горьким пунктиром скользнула усмешка — не надо было тебе, парень, в медицинский идти, экий ты ранимо впечатлительный...

— Так что у меня, Геннадий Григорьевич? Вы можете мне четко и внятно сказать?

— Ну, в общем... Да, могу...

— Так и говорите!

— Су... Судя по всему, у вас уже запущенная форма заболевания... Я думаю, ближе к третьей стадии... Но в больнице проведут еще...

— Да ладно, слышала я про больницу! — резко оборвала она его, с силой сжимая пальцами тонкий стакан. В какую-то секунду очень захотелось, чтоб он сломался в ее пальцах, чтоб осколки жадно впились в ладонь и чтобы кровь брызнула ярким фонтаном — живая, алая, теплая. С самого начала этого разговора ей казалось, что сердце гоняет по организму не кровь,

Знак Нефертити

а холодную ядовитую субстанцию, похожую на серную кислоту...

— Это что же, Геннадий Григорьевич... Я умираю, что ли?

— Нет, Анна Васильевна, нет... — совсем по-детски замотал он головой, чуть выпучив глаза. — Конечно, состояние критическое, но специалисты в больнице сделают все возможное... Там очень хорошие специалисты, Анна Васильевна!

— А все возможное — это что? Операция, что ли?

— Ну, в каком-то смысле... Я думаю, в вашем случае все-таки не обойтись без радикальной мастэктомии...

— Я не понимаю... Что это — маст... экто...

— Это ампутация, Анна Васильевна.

— Что?!

— Да. Ампутация груди. Да вы не пугайтесь — потом вам сделают восстановительную операцию! Может, через год... Как пройдете курс химиотерапии... А может, после курса гормонального лечения... Главное — нельзя больше затягивать по времени, понимаете? Вот, возьмите, пожалуйста, направление... Я тут все написал...

Он еще что-то говорил, помахивая перед лицом детскими ладошками — она уже не слышала. А потом вдруг расплылся перед глазами, пошел зыбкими волнами — голова-плечи — узкая куриная грудка... Обожгло щеки, и она удивленно

ВЕРА КОЛОЧКОВА

дотронулась до них ладонями — плачет, что ли? Откуда вдруг такие горячие слезы взялись, если в организме все заледенело отчаянием? Вместо сердца — тяжелая льдина. Вместо брюшины — корка твердого льда, и не вздохнуть...

Отерла торопливо щеки, с шумом втянула в себя воздух. И на самом выдохе, будто на верхушке айсберга, сверкнула неожиданной простотой мысль — а ведь она запросто могла проигнорировать эту обязательку-диспансеризацию... Попустилась бы квартальной премией и не пошла. И жила бы себе дальше, сколько... можно было. Зато бы — жила, не обремененная этим ужасным знанием. Дура, дура, зачем пошла... Не зря же к больницам с детства идиосинкразию испытывала...

— Скажите, Геннадий Григорьевич... А можно... я подумаю? — спросила неожиданно для самой себя, все еще цепляясь за ту мысль на вершине айсберга-вдоха.

Он глянул на нее исподлобья, спросил осторожно:

- О чем подумаете, Анна Васильевна?
- Ну... Я же имею право... Решать.
- Что — решать?
- Судьбу свою, что! Я имею право решать, ложиться мне под нож или жить с этим, сколько мне там осталось... Ведь имею?

Знак Нефертити

— Ну, это уж совсем глупо, Анна Васильевна... Медицина сейчас в этом смысле далеко шагнула, в смысле реабилитации...

— Да, вы говорили уже. И тем не менее.

— Глупо, Анна Васильевна!

— Знаю, что глупо! Но все равно — у меня должно быть время подумать. Дайте мне две недели, я подумать хочу.

— Нет...

— Да!

— Ну хорошо, давайте — неделю... Хотя зря вы так, Анна Васильевна. А хотите, я вам хорошего психолога посоветую? Он как раз этой стороной специфики занимается...

— Не надо мне никакого психолога. Я к вам приду через две недели. Я сама все решу, Геннадий Григорьевич. Мне... Мне принять надо... Или не принять... Я сама решу.

— Скажите, а... Родные и близкие рядом с вами есть?

— Есть. Сколько угодно у меня и родных, и близких. В общем, я не прощаюсь, Геннадий Григорьевич... Я приду ровно через две недели... — уже на ходу проговорила она, выбегая из кабинета.

— Через неделю! Лучше через неде...

Захлопнула дверь на полуслове, быстро прошла по коридору, потом понеслась вниз по лестнице, выстукивая каблуками тяжелую дробь.

ВЕРА КОЛОЧКОВА

Выскочила на улицу — дождь... Холодный, мелкий, ноябрьский. Как хорошо — холодным дождем по лицу... Жадные маленькие иголки набросились, как рыбки-пираньи. На ходу отерла лицо ладонью, удивилась его горячности — опять ревет, что ли? Все ощущения перепутались, и непонятно, где и что. Где — дождь, а где — слезы...

Этим же вечером она напилась. Достала из бара непечатую бутылку «Абсолюта» — два года стояла нетронутой, как сувенир из «дьюти фри» после какой-то поездки. Наливала в стакан, глотала жадно, как воду. И все казалось, что спасительный хмель не берет — организм категорически не желал отключаться. Всю бутылку в себя влила — литровую... Потом вдарило по мозгам — сразу, как обухом топора. Не помнила, как оказалась в постели. В ней и провела всю субботу, страдая жестокой лихорадкой и через невыносимую головную боль удивляясь — как это люди пьют? Это какая же мука из мук и уж никак на спасительный обморок не похоже...

А сегодня, в воскресное, стало быть, утро, пришлось вставать. И жить. Вот и душ приняла. И даже себя в зеркале рассмотрела — по привычке...

— Мам, ты уже все?

Антон поскребся в дверь ванной — было слышно, как он нетерпеливо переступает с ноги на ногу.

— Сейчас... Минуту еще. Подождешь, не опишешься.

Знак Нефертити

— Да мне быстрее надо, я тороплюсь, мам!

Накинула на себя халат, обвязала голову полотенцем, привычно соорудив из него высокий тюрбан. Вышагнула из ванной, и он тут же гибко просочился у нее за спиной, рывком захлопнул дверь.

— Тебе омлет сделать или глазунью? — спросила громко, направляясь в сторону кухни.

— Да мне все равно... — расслышалось сквозь шум льющейся из крана воды.

Ну, все равно так все равно. Значит, глазунью. С омлетом хлопот больше. О, а на кухне-то — глаза бы не видели... Полная раковина грязной посуды, сухие хлебные крошки на столе, капли от кетчупа, как кровь... Ну да, все правильно. Антошенька никогда не удосужится за собой убрать, у Антошеньки мама есть. Хорошо тут вчера похозяйничал, пока она в похмельном отравленном забытии валялась... Нет, надо отдать должное, заглядывал он в спальню, интересовался, что с ней. И даже таблетку от головной боли предлагал принести. Хороший сынок, заботливый. Лучше бы посуду за собой помыл. А вечером, видать, смылся под шумок. Вернее, под ее убитое дремучее состояние.

Так... Посуду — потом. А сейчас — кофе. Наикрепчайший, в большую кружку, с лимоном. Да — и яичницу...

Хлопнула дверь ванной, и вот он, сынок, нарисовался в проеме кухни. Крепкий, ладненький,

ВЕРА КОЛОЧКОВА

румянец во всю щеку, попка-орешек в черных трусах-боксерах.

— Садись, завтракай... Мог бы вчера и посуду помыть, между прочим.

— Да я не успел, мам...

— А чем, интересно, так занят был?

— Гулял...

— Ну, понятно. И во сколько домой пришел?

— В двенадцать.

— Не ври! Когда это ты со своих гулянок в двенадцать возвращался? Опять, наверное, с Димкой всю ночь по клубам зажигали?

— Нет, не зажигали.

— Да? А отчего так?

— Материальные трудности, мам. Денег нет.

— Это что, намек? Раскрывай, матушка, кошелек, мне погулять не на что?

— Да ничего я такого... Ты спросила, я ответил, вот и все. Ничего мне не надо, если ты так вопрос ставишь.

— Как я ставлю вопрос?

— Да ладно, мам... Все, закрыли тему.

— Антон! Ты как с матерью разговариваешь?

— А как я разговариваю?!

— Нагло, вот как!

— Ну, мам... Не заводись, прошу тебя.

— Это я? Я заводжусь?

— Ну, мам...

Знак Нефертити

— Ага — мам! Тебе же без толку объяснять — что в лоб, что по лбу!

— Это ты про деньги, что ли?

— Нет, не про деньги! Ночами бог знает что в городе делается, кругом один криминал! Сколько раз тебе говорила — сведешь мать в могилу...

Сказала — и задохнулась от страшного слова, невзначай выброшенного в пространство. Будто струна внутри лопнула, прошла по телу вибрацией — дзинь-нь-нь...

Торопливо отвернулась к плите, зачем-то помешала ложкой набухающий в турке кофе. И оставалось-то две секунды, чтобы пенка до края поднялась... Вдохнула, выдохнула, осторожно напрягла память — а ведь и впрямь она, бывало, это выражение не уставала повторять — сведешь мать в могилу...

Нет, сейчас она к этим ночам-ожиданиям уже приспособилась как-то. Адаптировалась нервная система. А поначалу, когда вошли в юную жизнь сыночка эти ночные клубешники... Это был ад, кромешный ад.

Начинался ад где-то в районе половины первого — с кругов по квартире, с зажатым в ладони мобильником. Звонила через каждые полчаса — голос услышать. Если есть голос в трубке, пусть и немного психованный, значит, живой сыночек. А если нет... Если занудные гудки разрывают барабанную перепонку... Да еще этот мерзкий

ВЕРА КОЛОЧКОВА

голос в конце: «Абонент не отвечает, перезвоните позже, пожалуйста!» Вот тут и начиналось настоящее сумасшествие. Душа выходила из тела, дергалась неприкаянностью, вилась по комнатам жгутом страха. И она за ней — жгутом. Как птица по веткам — из комнаты в комнату. И опять — телефонный клик, и опять — гудки и мерзкий вежливый голос...

Однажды он за всю ночь не ответил ни разу. Потом выяснилось — уехали в другой клуб, а телефон на стойке бара забыл. Она поначалу все кликала, кликала, и птицей с ветки на ветку прыгала, и злилась про себя, и ругалась — ну, только появись, эгоист несчастный... А потом, под утро, по-настоящему испугалась, как говорят — омертвела страхом. Стояла на коленях, молилась, жгла церковную свечку «за здравие»... И тряслась, тряслась мелкой дрожью. Но вот же, помнится, странно... Вроде и молилась, и тряслась, а обиженность на сына все равно никуда не уходила. Живучая, зараза, эта обиженность. Так и лезет в омертвленную от страха душу вопросом — неужели сыночку в голову не приходит, как она тут с ума сходит? Ведь она мать ему... Вроде должен понять...

Да, страшная была ночь. Потом, когда зашуршал ключ в замке, с первым вопросом и кинулась — ты о матери хоть иногда думаешь? Ты хоть понимаешь, что со мной творишь, эгоист несчастный? И про «могилу» тогда тоже, конечно,

Знак Нефертити

припомнила... Изрыгала из себя обвинения, и — странно — на душе легче становилось. Именно от обвинений, а не от сыновнего рассказа, что телефон в другом клубе забыл...

— Мам, а правда дай денег немного, а? — искательно прозвучал за спиной голос Антона.

— Ах, так все-таки дай? Ты ж только что гордо сказал — закрыли тему? Значит, урезонил мать, да? Поставил на место? А денежек-то все-таки надо, да? Бедный ты, бедный, плохая у тебя мать, сама не понимает, что ты немного поиздержался... — не удержалась она от язвительности, снимая с плиты турку. Даже языком поцокала для пущей убедительности.

— Ну зачем ты так, мам? Я же просто спросил...

— Ты спросил, а я ответила. Я тебе недавно деньги давала.

— Так они кончились...

— А ты по клубам зажигай меньше, и кончатся так быстро не будут.

— Так не дашь, что ли?

Она хмыкнула, пожала плечами, уселась с чашкой кофе за стол. Подумалось вдруг раздраженно — что ж у них за разговоры с сыном такие... Как у коммунальных соседей поутру, лишь бы задеть друг друга побольнее. И никакой душевности. Вот чего, чего она на него взъелась? И впрямь, что ли, денег жалко? Ведь нет...

ВЕРА КОЛОЧКОВА

Деньги у нее были. Да и не часто докучал Антон подобными просьбами — надо отдать ему должное. Просто вдруг накатило что-то, раздраженно зудящее, с отголоском испуга — у кого ж ты потом, после... После всего будешь денег просить? И вообще... Кто тебе по утрам глазунью сделает, кто в ночных ожиданиях свечи перед иконами жечь будет... А главное — кто в институтскую кассу очередной взнос за учебу внесет?! Сидишь сейчас, полуробенек-полумужик, беззаботно глазунью лопаешь, и невдомек тебе, что никому, кроме матери, ты и не нужен...

Да, действительно, — раззуделось. Довольно противное ощущение, похожее на странную потребность пригнуть, наконец, сыночка за шею, напомнить о сыновнем долге, об уважении-благодарности. Пусть хоть так — вредно материально. Чтоб усвоил — кто она для него есть. Пока — есть.

— Знаешь, Антош, как мне моя мама в детстве говорила: где я тебе денег возьму, из колена выколю?

— А... Ну так бы и сказала — нет у меня денег. А то — колена какие-то... — поднял он на нее веселые понимающие глаза.

И это веселое понимание тоже вдруг разозлило! Так разозлило, что сама себя испугалась — вроде бы все наоборот должно быть... Вроде она жалеть его должна, потенциальную сиротинушку, за плечи обнять да поплакать, о своей беде рассказать...

Знак Нефертити

Но не смогла. Понесло со злостью и понесло, не остановишь.

— А хоть бы и были — не дала бы! Я что, пожизненно должна все твои клубные удовольствия оплачивать? Мать-кошелек у тебя, да? Только для этого и годится?

— Мам, ты чего... — уставился он на нее в насмешливом недоумении. Впрочем, насмешливости там уже немного оставалось, недоумения больше было.

— А ничего! — грохнула она тяжелой чашкой об стол. — У нас с тобой, между прочим, одна зарплата на двоих! Заметь — моя зарплата! А ты ведешь себя, как... Как...

Она запнулась, подбирая нужное слово. И все оно никак не находилось, соскакивало с языка. Как — неблагодарный, что ли? Беззаботный? Или обидно по отношению к матери легкомысленный?

— ...Ты ведешь себя, как самый последний эгоист! — зацепилась, наконец, за привычное выражение. Как будто есть разница в этом ряду — первый эгоист или последний.

— Да ты же сама подработать мне не дала, когда я хотел в «Макдоналдс»... И сама хотела, чтоб я на дневное отделение поступал! Я бы и на вечернем смог, и на заочном! И работал бы...

— Да, я хотела только дневное! А ты как думал? Иначе бы ты сразу в армию загремел! И скажи спасибо, что твоя мать на десять шагов вперед за

ВЕРА КОЛОЧКОВА

тебя думает! И кормит тебя! И учит! И ночами за тебя волнуется, с ума сходит! И заметь — больше желающих все это проделывать на данный момент не имеется!

— Это ты сейчас про отца, что ли?

— Да хотя бы и про отца... Ну вот давай, позвони ему, попроси денег на свои клубки! Ты знаешь, что он тебе ответит? Мне дословно воспроизвести? Ну, чего смотришь? Давай звони!

— Мам, зачем ты так... Ты же знаешь его ситуацию — Таня в декрете сидит, вот-вот рожать будет, еще и с работы отца уволили по сокращению... Он же в семье один работает, мам! Таня даже пособия не получает!

— А я, выходит, с дядей работаю, что ли? И какое мне дело до того, что отцовская Таня не удосужилась вовремя подсуетиться с пособием? Ты думаешь, это меня должно волновать? Надо было думать, прежде чем ребенка заводить! И в первую очередь о деньгах думать!

— Так они ж квартиру снимают, мам... Все деньги на квартиру уходят...

— И что? Мы с тобой должны напрягаться по этому поводу?

— Мам, да он и так ушел, ничего не взял, и квартиру менять не стал! А, между прочим, мог бы! По закону имел право!

Знак Нефертити

— Ага, сейчас, разбежался! Да кто бы ему позволил — квартиру менять? Ушел — и до свидания, сам так решил, никто его из дома не гнал.

— У него же была доля, значит, мог...

— Была да сплыла!

— Ну да... Ты ж сама его и заставила дарственную на долю оформить...

— Да ты что? Заставила, значит? Мать, значит, жестокая, а отец такой благородный? А на кого я эту долю заставила его оформить, ты помнишь? На тебя же она и оформлена!

— А я просил?!

— А кто бы тебя спрашивал? Сказал бы спасибо, что мать для тебя постаралась! И каких нервов мне это стоило! А теперь, значит, мать плохая оказалась, а отец благородный!

— Да, мам. Получается, он благородный.

— Ах-х ты... — чуть не подавилась она давно остывшим кофе, закашлялась, пальцем указывая на дверь и, уже не отдавая отчета в своих словах, надрывно проговорила сквозь кашель: — Ну, так иди, живи с ним, если он такой благородный! Чего живешь-то со мной, с плохой, неблагородной матерью?

— Да я бы ушел, если б...

Он взглянул на нее коротко, отчаянно, напрягся весь, отвел глаза в сторону. Потом медленно вздохнул, задержал в себе воздух на секунду и произнес едва слышно, на выдохе, будто не для нее, а куда-то в кухонное пространство:

ВЕРА КОЛОЧКОВА

— С тобой же невозможно, мам... Ты же только себя слышишь...

— Себя? Я — только себя? Ты так считаешь? А когда мне к себе прислушиваться-то, сынок? У меня ж времени нет, я должна тебя поить-кормить, учить-одевать, зарабатывать... У меня перед тобой долг есть, сынок. Материнский долг называется. Отец, выходит, ничего тебе не должен, а я... Мне, выходит, одной надо... А ты не понимаешь, не ценишь!

— Да ценю я, мам!

— Нет, не ценишь!

— Ну, хорошо, если тебе так легче... Ладно, пойду я, мам. Спасибо за завтрак, — торопливо поднялся он из-за стола.

— погоди, я тебе денег дам... Сколько тебе нужно?

— Нисколько. Обойдусь.

Вышел из кухни, красиво неся мускулистую попку, обтянутую трусами-боксерами. Она лишь усмехнулась вслед горько — надо же, гордый... Отец, значит, шибко благородный, а сын — шибко гордый. Яблоко от яблони, значит. А она, выходит, пугалом в этом саду служит, ворон отгоняет. Невозможно жить рядом с пугалом.

Хлопнула дверь в прихожей — ушел. Даже глазунью не доел. Отщипнув от батона белый мякиш, поелозила им в растекшемся по тарелке яичном желтке, отправила в рот. Значит, невоз-

Знак Нефертити

можно со мной, говоришь... Ну, ну. Ох, эгоист... Эгоист несчастный...

А может, надо бы ему все рассказать? Так, мол, и так, сынок, приключилось со мной горе такое...

Вздохнула, и встал в горле слезный комок. Представилось на секунду Антошкино лицо... А какое оно было бы, сыновнее лицо? Вино-вато-испуганное? Испуганное — за нее или за самого себя? Вон, как он издевательски глубоко-мысленно пробурчал — с тобой же невозможно, мам...

Нет. Правильно, что ничего ему не сказала. Слов бы не нашла. Для самой себя-то пока ни слов не находится, ни мыслей определенных... Прячутся мысли, жмутся испуганно, скрываются за спасительным — потом, потом... Две недели впереди, можно досыта с самой собой и наговориться, и надуматься. А пока... Вон, пока обыденными делами заняться нужно. Посуду помыть...

Встала к мойке, автоматически натянула на руки резиновые перчатки. Открутила краны, поставила тарелку под напор воды и... Дернулось что-то внутри, подкатило к горлу безысходностью. Господи, да при чем здесь полная мойка грязной посуды... Да провались оно все куда-нибудь вместе с грязной посудой, с бытовой привычной обыденностью! И с этим сыновним обидным «С тобой же невозможно, мам...».

ВЕРА КОЛОЧКОВА

И поплыло горячо перед глазами, и вырвалось из груди тяжким всхлипом — за что? За то, что она ему... Что для него же... Все и всегда, что могла...

Стянула перчатки, подошла к окну, сплела руки по-бабьи под грудью, горестно сжала плечи. Ну почему, почему не получилось с детьми душевных отношений, почему — все только для них, в одну сторону... И Лерка, вон, из дому ушла. И ладно бы хорошо ушла, а то ведь так, в бессмысленное гражданское проживание. Что оно ей даст, это проживание? А главное — с кем... С полным ничтожеством... И где она этого Геру откопала, интересно? Ни профессии, ни квартиры своей. А самое главное — себя за художника подает, богема голозадая. Чего бы ни делать, лишь бы не работать. Это же надо было еще постараться, чтоб себе мужика найти с таким именем — Герасим! Чего от него можно вообще ждать, какой нормальной жизни? Разве можно с таким Герасимом гнездо семейное свить? Да с таким выпрыгнешь за борт, как бедная Муму, и не заметишь...

И Антон туда же. Как у него сейчас выскочило — я бы ушел... Вот тебе, мать, на этом и вся благодарность. Ты, мать, уже и слова своего не имеешь. Не ори, мать, а то уйду.

Нет, интересно, а какая мать никогда не орет на ребенка? Та и не орет, которой все равно. Та, которая птицей в ночных ожиданиях с ветки на